

ХОДОК

Сибирь. Война там, на западе, в 43-м в тылу казалась обычным делом. Правда, мужиков в деревнях почти не осталось. Здоровых и крепких мужчин можно было видеть только на аэродроме у казарм или общежитий лётчиков, но они там не задерживались: несколько месяцев обучения и на запад. Да ещё оставшиеся на станции по броне машинисты. *Всё* остальное мужское население — старики и подростки, да мы, мальчишки.

Мой одноклассник Колька Плотников, по-видимому, где-то услышал и авторитетно утверждал в мае 1943-го: «Ну, летом мы как всегда отступаем, а до зимы дойдёт — пойдём в наступление». Верить как-то этому не хотелось, но ведь так же и было в 1941-м и 1942-м. Но в августе я показал Кольке фигу. В Москве произвели салют в честь взятия Орла и Белгорода. Колька не обиделся, и мы пошли купаться.

А лето 1943 г. в Сибири было жарким и сухим. Речки у Марьяновки не было, и мы бегали на озеро, скорее большую солёную лужу Камышовка. Там, чтобы окунуться, нужно пройти метров пятнадцать по илистому дну и присесть по горло в тёплую коричневатую воду. Возвращаясь домой по звенящей кузнечиками степи, зорко смотрели под ноги: там по неосторожности можно было наступить на мохнатеньких тарантулов, которых мы били палками. Кое-где в отдалении от холмиков выглядывали суслики. Уточка, спугнутая с озера, сделав круг, пикировала в камыши.

До занятий в школе был ещё целый месяц. Хотя с трудом, но выполнялись родительские задания. Берёзовые брёвна были распилены на небольшие чурбачки. Правда, пила была плохо разведена, и мы с братом Стаськой требовали друг от друга более энергично тянуть ручки. Иногда за неусердие награждали друг друга оплеухами. Потом чурки кололи на поленья. Это была серьёзная мужская работа, и тут хотелось показать сноровку. Если чурка была ровной, то любо-дорого было расколоть её на ровненькие полешки. Если же навстречу топору попадался укоренившийся сук, то приходилось попотеть и повозиться под ехидные реплики брата. Приходилось бежать за колуном, с помощью которого удавалось расчленивать непокорную чурку. Потом чистился от навоза сарай, куда приходила с выпаса корова Сара, купленная за различные вещи у немецкой семьи.

В Марьяновке во время каникул мама всегда нас пристраивала куда-нибудь поработать, не обязательно за плату, а так, чтобы для пользы и присмотра. Стаську она часто брала на почту, где сама принимала письма, получала газеты из Омска и местной типографии и вела проверку писем, идущих на фронт и с фронта. Называлось это «военная цензура» и делалось с целью неразглашения секретов и военных планов. Хотя какие там особые секреты в сельском районе? С фронта-то и так шли ободряющие письма, чтобы родные и близкие не беспокоились. А из тыла кто решится жаловаться и тревожить родного мужа или брата? Беда приходила в основном с похоронками. Стаська получал задание разносить газеты по домам и учреждениям, а мне иногда поручалось расклеивать листовки — сводки Совинформбюро. Правда, это стали делать с 1943 года. Сводки с этого года были порадостнее. В том же 1943 году, учитывая удивлявшую всех мою память на географические названия, я получил задание: на двухметровой фанерной карте, изображавшей Европейскую часть Советского Союза, показывать линию фронта. Конечно, я чрезвычайно этим гордился. Утром слушал сводку и бежал продвигать красную ленточку на запад. Иногда, правда, дальше, чем сообщалось, и потом, с сожалением, возвращал её обратно. И прописывал названия взятых городов красным карандашом, потому что многих из них на карте не было. Позднее, когда мы в конце 1945 года переехали на Украину, мне и там была поручена эта миссия. Было очень здорово, когда ко мне подходили взрослые дядьки, в основном, военные и инвалиды и серьёзно спрашивали: «Ну, как там?» И я столь же серьёзно отвечал: «Наступают», хотя иногда таких сообщений и не было, но я знал, что завтра будут.

Однажды в августе 1943 года пришла к маме тётя Соня, работавшая рядом, и предложила забрать нас с братом в свою деревню на недельку: «Вы всё время на работе, а у нас там грибы, ягоды, корова — пусть побудут». Стаська категорически отказался, а я, испытывая страсть к путешествиям, согласился. Правда, была тут одна заковыка. Тётя Соня (фамилия её была Шмидт, как у известного полярника) была немка, да и к тому же какая она тётя. Ей было восемнадцать-девятнадцать. Но к «нашим» немцам мы ненависти не испытывали, да и район наш был интернациональный: в нём кроме русских были колхозы других национальностей: «Роте фанс», «Ротармеец» — немецкие, «Червоный пахарь» и «Червоный трудовик» — украинские, «Энбекши казак» — казахский, да, кажется, был татарский и даже латышский. «Ну а немцы, так это же свои, наши», — сказала мама.

В деревне, куда мы добрались на лошадке, взрослых мужчин, правда, тоже не было. Всех, кто постарше двадцати лет забрали в «трудармию».

Дедушка тёти Сони, крепкий шестидесятилетний крепыш, протянул руку: «Здравствуй, пионер Валерий» и повёл сразу показывать, какая у них была умная корова, сочная малина и особенно поразил меня крупной, с детскую голову, картошкой. Да, действительно, такой картошки, как в немецких деревнях, ни у кого больше не было. Вечером меня напоили молоком, мы поели вкусную рассыпчатую картошку с солёными огурцами. (Помню отец утешал, когда было не столь сытно и говорил маме: «Ну что ты, Фиса, всё хорошо, хлеб есть, картошка есть, а огурцы — это уже роскошь».) Конечно, всё это было роскошью для военных лет, и меня положили спать в комнате на военную кровать, над которой висела грамота с портретами Ленина и Сталина «За высокие урожаи картошки». Наш немец-то! Но я так и не заснул. Почему-то мой организм не очень-то раньше обращал внимание на такую мелочь, как клопы, и в моем диване они водились. Да и «вошка» была ему знакома. В классе нас еженедельно проверяли «на вшивость». Такое время было — иногда вошь заползала. Но тут, в чистеньком немецком доме, меня заела быстрая, резвая попрыгунья-блоха. У нас их не было, а тут то ли собаки, то ли кошки выпускали с себя стайки весёлых прыгунов на юного пионера. Пионер и не спал всю ночь, чесался, хлопал себя по спине и по ногам, а блошки, казалось, играли со мной, резвились, перепрыгивали, иногда оказывались и на голове. Я стряхивал их, а может воображал, что это они. И, наконец, я не выдержал: чтобы привлечь к себе внимание стал постанывать. Сонин дед услышал, с тревогой встал, зажёл лампу, что-то спросил по-немецки, типа: «Вас ист дас?» Я стеснялся объяснить, а дед принёс одеяло со своей кровати и накрыл меня. Легче от этого не стало — я измучился и еле дождался утра. Утром показал на небольшие точки на руках и животе. Дед покачал головой и сказал, что это не опасно. Да я и сам знал, что не опасно, но зудит и чешется. Решил терпеть.

Днём с племянником деда Карлом (имя Карла было на слуху после кинобоевика «Карл Брунер», где юный Карл боролся с фашистами) пошёл в лес, насобирал целый кувшин земляники и корзинку грибов. Дед же подготовил сюрприз: собрал вечером человек десять таких же, как он, пожилых людей и торжественно объявил что-то

по-немецки, а мне перевёл, что он им сказал, что я умный и хороший пионер. Отмечаю на карте линию фронта и расскажу колхозникам, что там на западе. Я, конечно, опешил. Взрослые, да ещё немцы! Но ведь пионер же. И встав за стол, стал рассказывать, что наши разбили немцев под Орлом и Курском. Тут же поправился: «Не немцев, а фашистов». Деды с согласием кивнули. «А сейчас мы вышли на Украину, взяли Харьков и в Москве по этому поводу был салют, стреляли холостыми и пускали в небо ракеты». Сказал, что наступаем на Днепр и скоро возьмём Киев. На такое заявление меня, конечно, никакое Совинформбюро не уполномочивало. Но тут уж я действовал, как настоящий политрук — подбадривал аудиторию. Я остановился, сделал паузу и не знал чем закончить. Потом вспомнил плакаты, висевшие в нашем клубе, где мы выступали перед лётчиками и торжественно сказал: «Наше дело правое — враг будет разбит, победа будет за нами!» «Смерть...», — и запнулся, внутренне понял, что надо сказать не так, как там, на плакате. Затем звонко произнёс:

«Смерть фашистским оккупантам!» Деды дружно кивнули и почти сразу все стали подходить ко мне, пожимать руку и говорили: «Данке! Спасибо!» А мой дед пристукнул кулаком и вроде бы в заключение сказал: «Победа будет за нами».

Ложился я с сознанием выполненного долга в комнате, на полу которой была разбросана полынь, чабрец и ещё какие-то травы против скачущего воинства. Оно вроде и притихло, но скорее изучило все проходы и обходные пути и после того как дед захрапел, кинулось на почившего на лаврах политинформатора. На этот раз я не стонал — не хотел ронять свой политический авторитет, но твёрдо решил, что утром уйду. Ну и что, что тридцать километров. Пройду спокойно, дорога прямая, ходить умею.

Утром все хозяева ушли на работу — время военное, должны трудиться. Я побродил по двору, высыпал в свою кепку собранную землянику, одел ботиночки и двинулся домой, подальше от блох.

День был весёлый, ветерок тёплый, дорога прямая, без извилин, цель движения ясна. Я и шёл без особого сомнения в своих силах и правильности решения. Степь сибирская уже подвыгорела, но попадавшиеся берёзовые колки (так у нас называли рощи) желтизной ещё не тронуло. Поля наполовину уже были скошены. Я знал, что это убрали ячмень. Пшеницу мой дядя Боря-комбайнёр убирал в начале сентября. Навстречу попались две-три машины, на бортах которых висели написанные на кумачовых полотнах лозунги «Урожай — фронту! Не оставим на полях ни зёрнышка!» Машины возвращались с элеватора, который в прошлом году горел, а сейчас уже восстановлен. Мы, мальчишки, бегали и помогали тогда во время пожара вёдрами переносить зерно подальше от горевшего здания. К полудню степь поднакалилась, я повязал на голове рубашку, в кепку-то я насыпал собранную вчера землянику. Захотелось пить, и вот тут-то земляника пригодилась. Ел её, конечно, немытую. Да мы в то время этого и не делали. Лес-то был чистый, без химии. Жажду утолил, и кепка снова оказалась на голове.

Когда прошёл половину пути, солнце пошло на убыль. Я зачем-то снял ботинки и повесил их на палку и дальше шёл босиком. Показался знаменитый совхоз «Овцевод». Я в нём однажды бывал, значит, Марьяновка уже недалеко. Километров десять-двенадцать. У дороги стояло здание школы, возле него возились на грядках мальчишки и девчонки моего возраста. Один из них поманил меня рукой, но я, испытывая беспокойство, продолжал идти. Он свистнул, и человек десять из них поднялись с грядок и догнали. «Ты чего, с нами не хочешь поработать?» — насупив бровишки, спросил, одетый в тельняшку, старший. Из-за его спины выскочил замурзанный малыш лет шести:

- Щелбанов ему надо надавать!

Парнишка отодвинул малыша. И я обратился к нему, понимая, что он главный: «Да мне некогда, я в Марьяновку иду, а солнце уже садится».

—А у тебя кто в Марьяновке?

—Родители.

Он помолчал, и не без укора сказал: «А у нас у всех родные погибли в Ленинграде, а у меня — в Кронштадте».

Вот, оказывается, что! Это же известный детдом для блокадных детей, вывезенных в прошлом году из Ленинграда. И эти ребята — сироты. Я почувствовал себя виноватым, помолчал и тихо сказал: «А у меня папа учился в Ленинграде. Он — машинист. А мама его ждала и жила на Лиговке».

—Ой ты, — охнул замурзанный танцор, — у меня же там тётя жила, — и всхлипнул.

—Ладно, питерский,— потеплел юный моряк,— как там на фронте? У нас тут радио не работает. А газеты через неделю привозят.

Уж тут я красочно рассказал им всё: и про Орёл, и про Белгород, и про то, что наши танки их хвалёных «тигров» раздолбили, и про салют в Москве, и про то, что мне доверили красную ленточку фронтов на карте в

Марьяновке передвигать на запад. И про Зою Космодемьянскую, и про Шуру Чекалина. Мальчишки окружили меня и внимательно слушали. Карапуз подошёл ближе и даже раскрыл рот.

Один из ребят спросил: «А Ленинград-то когда?» Кронштадтский солидно ответил за меня: «Когда Верховный решит. ..» Все попрощались со мной за руку, а старший с теплотой попросил: «Приходи ещё, когда родителей увидишь». Я кивнул головой и пошёл, потом обернулся, увидел, что они не расходятся, помахал рукой и двинулся вперёд. Навстречу ехала небольшая телега, набитая сеном, сверху сидел дед, который с удивлением посмотрел на меня и, узнав вчерашнего политинформатора, показал на телегу: «Давай, цурюк, поехали назад». «Рядом уже», — опасаясь, чтобы он меня не усадил и не увез обратно, спешно уверил я. Хотя было-то ещё километров десять.

Солнце уже чиркало горизонт, и тут впервые я почувствовал не усталость в ногах, а опасность, которая почему-то шла снизу. Да, по лощинкам полз вечерний туман, но не он же мне грозит, хотя и похолодало. Да, вверху загорелось несколько звёздочек, но ведь ещё довольно светло — дорогу я различаю. Да, кругом никого нет, но я ведь почти в полном одиночестве и шёл целый день. А теперь нет, не в одиночестве, когда стал озираться, то увидел слева метрах в двухстах размеренно бегущую собаку. Не маленькую, а большую серую овчарку. Вот и попутчик, подумалось вначале. Но на мои возгласы и помахивания рукой, чтобы она подошла, собака не реагировала, хотя чуть-чуть приблизилась. Приоглянувшись, я увидел острые уши и, как мне показалось, в сумерках блеснули глаза. Волк! Я сразу вспомнил рассказы Кольки Плотникова, что во время войны их немало развелось вокруг Марьяновки, и что у его родных в Усовке волки перерезали всех овец, забравшись в сарай, и перегрызли горло собаке.

Ну и так что же: испугаться и бежать? Нас этому не учили. Надо показать, что не боюсь, и в руках у меня палка. Я взял ботинки в левую руку, а палку крепко зажал в правой. Волк, однако же, двигаясь параллельно, приблизился ещё метров на пятьдесят. Так дело не пойдёт, надо его испугать — решил я. И громко запел песню «По военной дороге шёл в борьбе и тревоге боевой восемнадцатый год!» Волк прекратил сближение, но шёл параллельно. Потом затянул погромче «По долинам и по взгорьям шла дивизия вперёд!», «На границе тучи ходят хмуро, край суровый тишиной объят». Волк то выплывал из темноты, то скрывался в ней, отчего становилось ещё страшнее. Я шёл вперёд скорее уже боком, выставив палку в сторону параллельного попутчика. Бога-то нет — учили нас тогда в школе, но как-то непроизвольно я произнёс слова, которые часто повторяла тетя Дуня: «Помоги, Господи». Расстояние было уже совсем небольшое, наверное, уже метров пятьдесят. И я решил, что сейчас ещё надо запеть самое героическое, самое бесстрашное, что повергло бы волка в панику.

Вставай, страна огромная!

Вставай на смертный бой!

— На какой-то высокой, но не визгливой ноте понеслось над степью.

— Ну, волк, ты нас так просто не возьмёшь! — стал выкрикивать я и продолжил - ***Пусть ярость благородная вскипает как волна...***

Волк присел, глаза его загорелись фонарями и, казалось, он готов был прыгнуть вперёд. Но внезапно он развернулся и напоследок, блеснув желтизной глаз, отпрянул в темноту.

«Стой! Ты Валерий из «Ротармейца» и в Марьяновку идёшь от деда Шмидта». За мной остановился грузовик, полоснувши фарами по мне и по дороге. Вот откуда полыхающие желтизной глаза у волка.

Я ещё полный переживаний с радостью ответил: «Да, да, вот почти рядом». «Нет, дорогой, не рядом, а едем, сдадим зерно и утром отвезём тебя в «Ротармеец». Конечно, я посопротивлялся, но, честно говоря, топтать в темноту как-то не хотелось.

...У ворот дядя Иван, как назвал себя пожилой шофёр, крикнул: «Дед, принимай ходока». Калитка распахнулась, из неё выбежала мама и вместо ожидаемой затрецины обняла и заприговаривала: «Валька,

Валька, как же так можно? Как же можно? Нам ночью сообщили, и мы вот со стариком на кобыле Машке примчались, а тебя нету нигде». «Да, мама, я почти дошёл, вот шофёр помешал». «Дедушка сказал, что видел тебя, когда ехал вечером, ребята из «Овцевода» тоже видели, а тебя нет нигде!» Мама плакала редко, а тут махнула рукой и стала вытирать слёзы. Затрещину я, правда, получил, но не от неё, а от брата Стаськи, который пригрозил: «Ну, ходок, подожди ещё дома, на орехи достанется». Я обиженно в ответ: «Ведь я же две политинформации провёл». Дома, правда, меня не наказывали, а прозвище «ходок» закрепилось и, может быть, вспоминая этой свой первый «суворовский переход», я стал через пять лет чемпионом Полтавской области по спортивной ходьбе, конечно, среди школьников.